

«МИЛЫЙ ДРУГ, ИЛЬ ТЫ НЕ ВИДИШЬ?»: БЕСЕДА С Е. О. ПУТИЛОВОЙ

ДЧ: Евгения Оскаровна, как случилось, что Вы занялись исследованием детской литературы? Это было связано с любовью к чтению детских книг в Вашем детстве или со студенческими интересами?

Е. О.: Нет, конечно! Детской литературой я занялась случайно: когда училась в институте, такого даже предположить не могла. Диплом я писала о творчестве Достоевского, интересовалась символистами, Львом Толстым... Но когда спустя несколько лет пришла выбирать тему для кандидатской диссертации, то уже твердо знала — только детская литература, только Гайдар! Мой научный руководитель был изумлен и даже рассержен, но ему пришлось смириться.

Как такое могло случиться? А очень просто — я после института работала в ленинградском лекционном бюро¹, туда приходили путевки от различных учреждений, о каких писателях их сотрудники хотели бы послушать лекции. И вот в какой-то момент стало приходить много путевок из детских библиотек, школ, каких-то пионерских лагерей... И там все хотели слушать лекции, естественно, про детских писателей. А у нас в бюро никто особо не хотел этим заниматься — какие-то детские писатели! И поручили это самому молодому сотруднику — мне. Что поделаешь — пришлось мне сесть за стол и приняться за изучение того, о чем я ни малейшего представления не имела. Дело в том, что детских книг я в детстве не читала, их просто не было у нас дома. Однажды мой старший брат, тогда уже известный театровед Борис Костелянец, принес домой три книги — «Рождественские рассказы» Диккенса, «Повести Белкина» и однотомник Лермонтова. Это и были мои первые детские книжки. А дальше я пошла в русскую классику и мировую литературу. А тут вдруг «детские писатели».

Но чем больше я погружалась в детскую литературу, чем больше я узнавала, тем интереснее мне становилось, и в какой-то момент



я влюбилась в нее, поняла, что именно это — мое призвание. Первым моим увлечением был, разумеется, Аркадий Гайдар. Я первая вошла в его архив, первая прочла его переписку. И у меня совсем иной взгляд на Гайдара, чем тот, который был распространен в те годы или даже сегодня. Он ведь все уже понимал... У него мне встретилась такая строчка: «В то, что Сашка Косарев шпион — я никогда не поверю...» Это Гайдар говорит

про Александра Косарева², первого комсомольского секретаря, с которым он крепко дружил. И когда Гайдар узнал, что того расстреляли как шпиона... У него все помутилось. Он перестал верить, понимаете? Как он жил дальше с этим знанием?

Я жалею, что больше не вернулась к теме Гайдара...

ДЧ: Почему же не вернулись?

Е. О.: Меня захватили другие вещи. Я увлеклась Пантелеевым. Это увлечение длилось двадцать лет и было для меня нелегким — Пантелеев был человеком трудным, очень тяжело с ним приходилось. Расстались мы плохо, и виновата в этом легендарная «Республика ШКИД». Я ведь хорошо знала, что половина глав была написана Григорием Белых, т. к. Алеша Еремеев появился в ШКИДе на год позже, чем Григорий. И сам Алексей Иванович мне говорил, что они разделили сочинение повести напополам: половину глав писал Белых, половину — Пантелеев. И я считаю, что Пантелеев мог бы сам об этом открыто говорить, от его славы ничего бы не убыло.

Однако уже начинали издавать республику ШКИД только под его именем, называть автором его одного. И он знал, что я делаю все, чтобы восстановить имя Белых, восстановить справедливость. И ему, как мне кажется, это не нравилось. Например, он рассердился на меня, когда я назвала свою книгу о нем «... Началось в Республике ШКИД». Считал, что таким образом я выпячиваю имя Белых, а его роль умаляю. Эту повесть он к концу жизни уже не любил: — говорил «Мальчишеская!», не понимая того, что именно «Республика ШКИД» останется в вечности.

ДЧ: А были ли еще авторы, которыми Вы увлекались так долго? Например, Чарская?

Е. О.: Я и Чарскую открыла для себя почти случайно. Когда я в начале восьмидесятых искала материалы для своего первого тома «Русская поэзия детям», то в журнале «Задуманное слово» наткнулась на одну из ее повестей. Так в «Задуманном слове» почти все ее вещи и перечитала, ведь книги Чарской были недоступны. И тогда началась моя борьба за Чарскую. Я нашла ее — бесхозную! — могилу на Смоленском кладбище и зарегистрировала ее на свое имя. Многие знали об этой могиле, она была хоть и «бесхозная», но ухоженная. Но все боялись взять на себя такую ответственность. А я зарегистрировала и получила жетон. И могила сразу стала открытой — как место памяти. Это было в 1988 г.

Интерес к Чарской огромный, огромный — и он сохраняется по сей день. В феврале я читала открытую лекцию о Чарской в Институте Детства в рамках цикла «Пути развития детской литературы». И такого количества народа даже я не ожидала. Огромная аудитория была наполнена народом, вносили скамейки, сдвигали стулья, негде было не только сидеть, но и стоять.

Я сдуру назвала тему лекции «О феномене возвращения Лидии Чарской» и ломала голову как никогда. Как втиснуть в полтора часа все, что я хотела бы сказать? Я понимала, что, с одной стороны, не о Чарской, в сущности, должна идти речь, речь должна идти о детской литературе начала XX в., о детской литературе 1920–1930-х гг., об истории детской литературы в целом. С другой стороны, невозможно не рассказать о судьбе Чарской, о ее «трех жизнях» — одной, начавшейся еще в XIX в.; второй — блестящей в начале XX в.; и третьей — горькой и страшной, наступившей после 1917 г., когда в течение двадцати лет человека сжигали заживо при нем самом, вытолкнули в нищету и обрекли на голодную смерть.

Но нельзя было сосредоточиться только на трагической жизни Чарской, надо было дать и картину ее уникального, особенного творчества. Причем мне хотелось, чтобы наметилась перекличка с современной литературой, например, автобиографическая повесть Чарской «Некрасивая» — это же «Чучело» Железникова, а пансионные повести похожи на советскую прозу, где говорится о подростках и нравственных проблемах. Вот, например, конфликт: «выдать или не выдать виновного?» Классический для детской литературы и произведениях о детстве. Помните, как у Полонского в повести «Доживем до понедельника» мальчик встает и говорит: «Не надо сличать почерка»? Помните, как у Гарина-Михайловского эта история ломает жизнь Темы навсегда?



А у Чарской это сделано как ни у кого! Например, в повести «Люда Влассовская». Да, там тоже булавка, о которую учитель ранит руку. И тот же вопрос — как быть классу, выдавать ли виновницу? Девушки учатся последний год, они должны выйти из института, и виновница получит «волчий билет», с которым ее никогда не возьмут ни на какую работу. И класс молчит, зная, что виновата Маруся Запольская, бедная девушка, живущая со своим старым, больным отцом, для которых будущие Марусины учительские или гувернантские заработки — единственный способ выжить. К тому же все знают, что Маруся поступила так, вступившись за свою подругу, к которой учитель был несправедлив.

И вдруг встает одна ученица, богатая, из благополучной семьи, которая не живет с девочками в пансионе, а только приходит на учебу, она выдает Марусю, и все кричат ей «предательница!» А девочка возражает: нет, она не предательница, она открыто, не исподтишка сказала о виновной.

И вот Марусе грозит отчисление, а в это время приходят вести о том, что учитель болен — булавка оказалась ржавой, началось заражение крови и ему грозит смерть или увечье. И все девочки молятся уже о здоровье учителя, и сама Маруся больше всех. Пусть накажут, пусть исключат — лишь бы она не была виновна в самом страшном. И внезапно — вы бы только видели, как меня слушала аудитория, зал буквально замер! — становится известно, что учителю лучше, кризис миновал. И еще жарче молятся девочки —

и вот настает день, когда учитель появляется в классе, как романтический герой, с искалеченной рукой в черной повязке. Маруся падает ему в ноги, прося прощения, хочет поцеловать руку, но учитель не дает. Он поднимает Марусю с колен и сам просит у нее прощения, признавая, что был несправедлив к ее подруге и что он испросил высочайшего прощения для «преступницы» и Марусю оставляют в институте...

Мой зал буквально ахнул! Раздался стон!

Такова сила Чарской, она хорошо понимала, как нужны счастливые развязки, у нее почти всегда истории заканчиваются хэппи-эндом. Кстати, этих-то счастливых концов советские критики и не любили у нее, считали их пошлыми и вредными. Как это так, герой-сирота не участвует в социальной борьбе и вдруг получает богатство и князя-отца, как, например, в «Сибирочке». Невозможно было представить в советской литературе и то, что учитель просит прощения у ученицы. И сказку, и Чарскую в двадцатые годы травили потому, что в них не было социальности, классовой борьбы. Герои сказок и книг Чарской добры, благородны, не предадут друзей, способны к раскаянию — и только! Этого советской литературе было мало. А где классовость, где борьба с эксплуататорами?

Я многое могу простить Чуковскому и Маршаку, но никогда не прощу травли Чарской. Как Маршак мог еще при живой Чарской, отовсюду изгнанной, умирающей с голода, сказать на Первом съезде писателей: «Убить Чарскую, несмотря на ее мнимую хрупкость и воздушность, не так-то легко...». Неужели он не понимал?

ДЧ: Если говорить о Маршаке, то мы знаем, что Вы были участницей его семинаров. Расскажите, пожалуйста, об этом.

Е. О.: Это не так, в семинарах Маршака я не участвовала. Я сама написала программу семинара по детской литературе 1920–1930-х гг., которую я тогда преподавала, и хотела обсудить ее с Маршаком. Я позвонила ему в Москву (он в отличие от Чуковского был доступен), и Маршак сказал: «Голубчик, приезжайте в любое время, в какое вам удобно!»

Мы договорились встретиться в три часа, и надо ли говорить, что уже в половину третьего я сидела на подоконнике в его парадной, дрожа от волнения. Меня встретила его сестра, Елена Ильина, предупредила, что Самуил Яковлевич себя не очень хорошо чувствует, и что у него поток посетителей, чтобы я его не очень утомляла. И, хотя я и была предупреждена, увидев его, я ахнула!

До этого я всегда видела Маршака цветущим, полным, румяным... а тут предо мною предстал иссохший скелет. Это ведь был уже последний год жизни Маршака, но я тогда этого не знала. Он очень тепло меня принял, сказал: «Голубчик, вы написали прекрасную программу!» Но больше всего, как мне кажется, его интересовало, была ли в ней упомянута Тамара Габбе, ведь он был в свое время в нее очень влюблен. Тем не менее, он внимательно прочитал программу и решил: «Голубчик, вы непременно должны быть с этим у меня на семинаре в сентябре, это очень хороший план, начнем работать вместе!»

Я поняла, что он утомился от нашей беседы, и спросила, можно ли его обнять на прощание? И он меня обнял, он, уже почти уходящий, стоящий на пороге смерти — меня, живую. Я была тогда молодая, красивая баба, но он обнял меня не как женщину, а как что-то живое, теплое, человеческое, что прощалось с ним. У меня слезы хлынули градом, у Маршака — тоже... Тут пришла его сестра и позвала меня пить чай. Это было весной, по-моему, в мае. А в июле Маршак умер. Это была наша последняя встреча. И так я не попала на его знаменитый семинар. Это все описано в моих очерках.

Свои встречи с Маршаком, Зощенко, Пантелеевым, Берггольц я успела описать и опубликовать эти работы, чему я очень рада. А сколько еще неопубликованного, неделанного, неисследованного! Например, я открыла поэтессу Марию Моравскую, чье имя я вернула в литературу и о ком не знал даже такой энциклопедически эрудированный человек, как Миша Яснов.

А Виталий Бианки! Вот о ком мне хотелось еще написать. Я когда-то делала о нем доклад, немного писала, но сколько всего осталось за рамками этих работ! Когда я прочла его записи, я поняла, что это большой писатель, он зажат Маршаком, но хочет писать иначе. Дочь Бианки показала мне трехтомник Блока с его пометками на полях, и мне стало ясно, что этот человек — поэт, такие точные и тонкие там были наблюдения. Он писал о музыке слова, о том, что писать стихи проще, чем прозу, потому что у них есть форма, жесткий ритм, и у прозы тоже должен быть ритм, только выдержать его сложнее... Дочь Бианки предложила мне написать об этом статью. Я это сделала и выдала Маршаку по полной!

А вот перед подругой Моравской, поэтессой Марией Пожаровой, у меня большой долг — у меня хранятся ее дневники, и это настоящее сокровище! Они трудно раскрываются, трудно расшифровываются, она их вела для себя, текст записывала определенным



образом, по разделам, как будто кодируя, все это очень непросто понять. Но какие там потрясающие вещи! Например, Пожарова, человек закрытый и необщительный, описывает, как однажды она все же пошла на светский прием в дом к Моравской, и когда она тихо сидела уголке, к ней подсел какой-то мужчина и поинтересовался тем, почему она не ест мяса (а Пожарова была вегетарианкой и сидела за столом, выбирая из блюд что называется «сено с соложкой»), стоит ли ему самому стать вегетарианцем, попросил разрешения ее проводить. Пожарова согласилась, и они по дороге к дому проговорили почти всю напролет летнюю ночь. И Пожарова дает в дневнике потрясающее описание своего собеседника, еще не зная, кто он. А это был Николай Гумилев. И у нее много таких портретов — Николая Клюева, Алексея Ремизова, Сергея Есенина, Всеволода Князева, Ксении Садовской...

Ах, если бы только у меня было время! Я говорю вам, опубликуй я эти дневники — и будет бомба! Настоящая культурная бомба. И у меня к вам большая просьба — если есть такая возможность, поместите в «Детских чтениях» мою статью о Пожаровой, написанную для сборника «Литературный мир Петербурга», я хочу заниматься этой темой.

ДЧ: Можно ли сказать, что Ваши основные исследовательские интересы связаны сейчас в основном с публикациями архивных документов по истории русской детской литературы?

Е. О.: Ох, нет! Это, конечно, мне страшно интересно, но я двигаюсь и в другом направлении, в направлении литературоведческих открытий. В мае у меня будет следующая открытая лекция, где я хочу



поговорить о поэзии символистов и ее связи с детской литературой. Как получилось, что почти все поэты этого направления рано или поздно начинали писать детские стихи? И Бальмонт, и Блок, и Городецкий, и Кузьмин, и Поликсена Соловьева, и Осип Мандельштам. У меня несколько соображений, но пока только соображений, которые мне хотелось бы стройно развить.

Во-первых, благодаря русской литературе XIX в., благодаря произведениям Толстого, Достоевского, Гарина-Михайловского, Короленко детство как тема, ребенок как литературный герой прочно вошли в русскую культуру и литературу. И символисты уже стояли на этом фундаменте.

Во-вторых, важна самая философия символистов. Она восходит, как вы знаете, к мифу Платона о пещере, где большинство людей сидят спиной к свету и принимают за реальность тени на стене пещеры. И только избранным открывается подлинный мир, только они обретают подлинное знание и могут им поделиться также только с избранными. И вот мне пришла в голову мысль — а что, если этими «избранными» для символистов стали дети? И эта теория многое объясняет — и почему Блок ввел в поэзию культ девочки, и строчки Сологуба «Живы дети, только дети...», и «Фейные сказки» Бальмонта, и стихи Поликсены Соловьевой, полные описаний звуков, запахов, красок, и то, что она издавала в течение нескольких лет детский журнал. Если смотреть на мир с того уровня, с какого видит его ребенок с высоты своего роста, то сколько чудесных вещей

можно увидеть! Не об этом ли хрестоматийное стихотворение Бальмонта «Детство»? Не об этом ли, особом, избранном детском взгляде стихотворение Владимира Соловьева:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг, иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце сердцу
Говорит в немом привете?

Эту мысль я собираюсь развить.

Беседа записана 13 марта 2018 г.

Примечания

¹ Ленинградское лекционное бюро было частью структуры Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, образованного в 1947 г. В 1963 г. было переименовано во Всесоюзное общество «Знание».

² Косарев Александр Васильевич (1903–1939) — член РКСМ с 1918 г., Первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1929–1938).